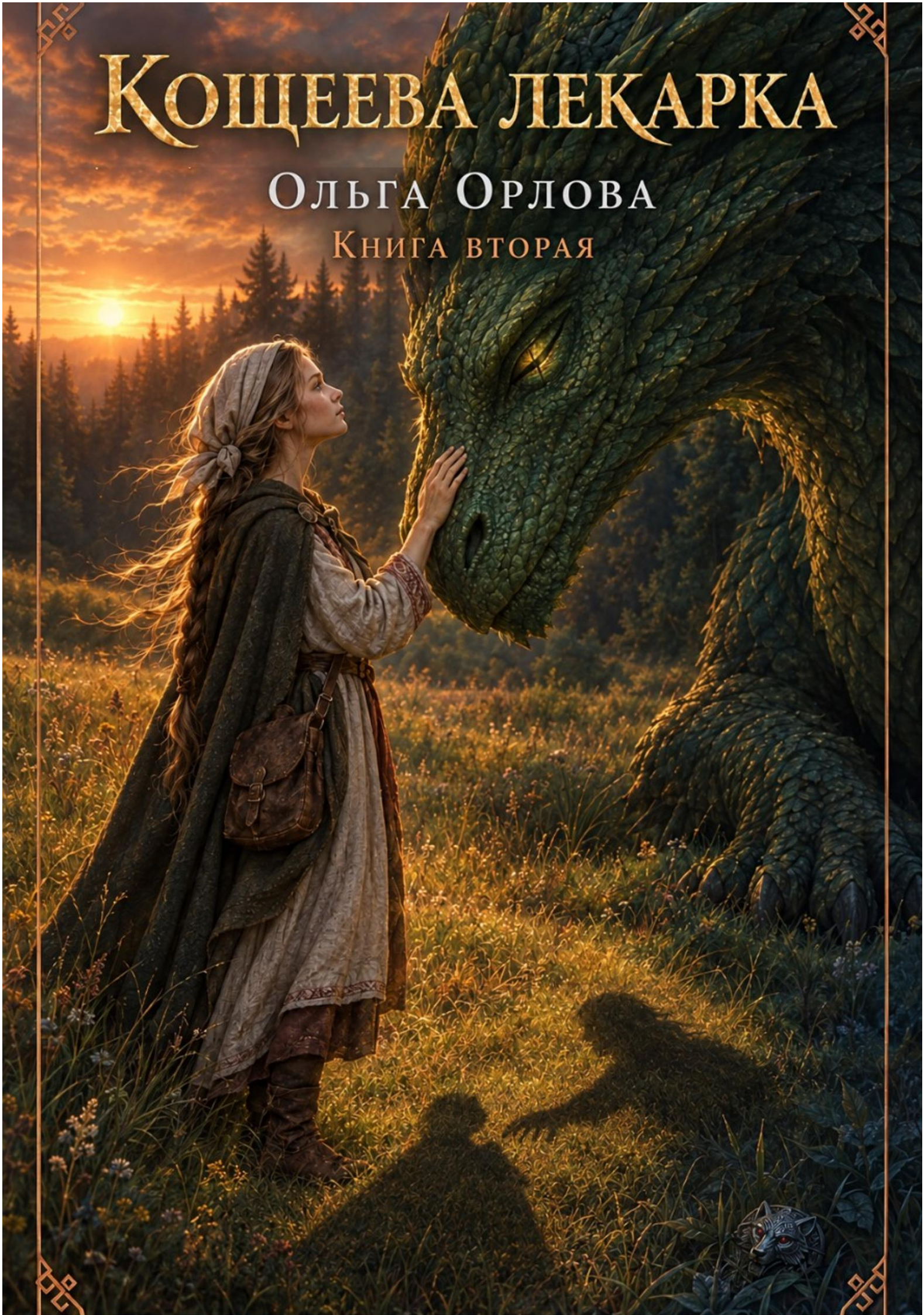

Кощеева лекарка
Ольга Орлова
Книга вторая

Ольга Орлова

Кощеева лекарка. Книга вторая

«Автор»
2026

Орлова О.

Кощеева лекарка. Книга вторая / О. Орлова — «Автор», 2026

Меня отдали Кощею в дань. Потом он меня отпустил. Потом от меня отрёкся отец.Теперь у меня нет дома, нет рода и нет фамилии. Есть прозвище, которое дают люди на дорогах: Кощеева лекарка.Я не Кощеева. Кощей вычеркнул моё имя из грамоты одной ровной чертой и даже не вышел меня проводить.Со мной зелёный дракон. Он прилетел без зова и не улетает. Он греет меня крылом, носит через реки и сторожит мой сон. А ещё злится, когда я лечу тех, кого лечить опасно, и рычит на каждого, кто смотрит на меня дольше, чем нужно.Ему я рассказываю всё. Про дом. Про страх. Про человека в чёрном, чьи руки до сих пор мне снятся.Дракон слушает. Драконы ведь не умеют говорить.По нашему следу идут чудовища, и у них человеческие глаза.А я ещё не знаю, что всё это время рассказывала не тому, кому думала. Или как раз тому.

© Орлова О., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Пролог 5
Глава 1. Шрам 7
Глава 2. Две недели 14
Конец ознакомительного фрагмента. 20

Ольга Орлова
Кощеева лекарка. Книга вторая

Пролог

Про Кощея в этих краях рассказывают сказки, обо мне — нет, и я не в обиде. Сказку, как худую лодку, всякий конопатит на свой лад, пока от неё не останется одна смола да враньё, а человеку, который ходит по чужим дорогам за тайнами, лучше, чтобы имя его путали, а лицо забывали к вечеру того же дня.

Ельник на краю поляны сырой, как погреб. Колени мои помнят больше зим, чем мне хотелось бы признавать, и ноют с рассвета — тупо, обиженно, будто старые псы, которых не пустили к огню. Я терплю. Терпением я богат без меры, всё остальное приходится добывать.

Клевер ещё не зацвёл, только набирает бутоны, а пахнет уже так, что запах доходит сюда, в хвою, — медовый, тёплый, почти неприличный для такого раннего часа. От него щемит где-то под ключицей, как от песни в чужом дворе, которую ты, оказывается, знал мальчишкой и забыл.

Девица пришла раньше зверя. Легла в клевер навзничь, руки за голову, сумку бросила рядом и смотрит в небо, где ползёт ястреб, — так глядят дети, которым некуда спешить. Вчера на торгу в Заречье я стоял через два ряда от неё, нюхал зверобой у какой-то знахарки, торговался из одной вежливости и скользнул по ней взглядом, как по изгороди. Я её не узнал. Признаюсь в этом с горечью человека, который всю жизнь гордился памятью на лица: платок, узел под подбородком, пальцы в травяной зелени — таких у любого колодца дюжина, и та, что в Ольховке назвала мне вместо тайны бессмертия пригорелую кашу, ничем среди них не выделялась.

А потом сел зверь.

Без зова — я слышал, как она охнула: «Я не звала!» — и в этом оханье не было страха, одна только радость, сердитая и детская, какой радуются псу, когда его гнали со двора, а он всё равно добежал следом до самой околицы.

Я видел этого зверя в бою. Видел, как он сметал хвостом факелы, как ревел, когда копьё с моего самострела вошло ему в плечо, и как люди мои, крепкие и вовсе не трусы, бежали от него через бурелом, теряя сапоги. Теперь он опускает голову к самой траве, и она кладёт ладонь ему на морду, между ноздрями, — так гладят жеребёнка, которого сами принимали в ночь.

Она обходит его и трогает шрам у основания крыла. Пальцы у неё медленные, словно она читает чешую, как слепая — лицо. Зверь вздыхает в землю, тяжело и протяжно, и не от боли. Не знаю, отчего так вздыхают звери. Люди так вздыхают, когда их наконец трогают там, где давно болит, а пожаловаться было некому.

Потом она солит хлеб — щедро, вдвое — и даёт ему с ладони. И он, спаливший мне за одну ночь три самострела и половину отряда, берёт горбушку одними губами, бережно, и лижет ей руку от запястья до кончиков пальцев, неторопливо, будто впереди у него вся жизнь, а у неё — ничего, кроме этой ладони.

Я отворачиваюсь. Мне доводилось видеть, как целуют стремя и край ризы, как жёны гладят мужьям виски, а матери — сыновьям горячие лбы. Меня последней так трогала мать, и было это так давно, что лица её я не помню, только запах рукава: дым и сушёная мята. Глупость. Старики к весне делаются чувствительны, как мухи к оконному стеклу.

Когда я поворачиваюсь снова, она уже спит в клевере, привалившись к его боку, а он лежит вокруг неё кольцом и держит над ней крыло, как держат полог над колыбелью, чтобы не налетела мошка.

За моей спиной переминается Хальвдан — молодой, усердный и тяжёлый на ногу. Под сапогом у него ломается ветка, сухо и звонко, на весь ельник, как лёд под первым шагом на реке.

Я замираю и жду огня. Так поступил бы любой зверь, да и всякий человек, у которого на коленях спит самое дорогое: вскинулся бы, оскалился, ударил первым. Зверь не шевелится. Только веко над зелёным глазом медленно поднимается — взгляд прямо в ельник, в меня, — и опускается снова.

Он знает, что мы здесь. Знает, сколько нас и где. И решает, что её сон важнее.

Звери хотят, боятся, едят. Выбирают люди, да и то не все и не часто. Холод проходит у меня по спине — приятный, острый, как в юности перед первым замком, который я открыл чужим ключом.

Через неё. Ну конечно, через неё.

Мои псы ждут у ручья, клевер им не по нраву. Им вообще мало что по нраву с тех пор, как я их доделал, и глаза у них стали слишком умные для собак: порой, когда я бросаю им мясо, мне кажется, что они хотят что-то сказать и не помнят как. Сегодня я их не спущу. Хорошее блюдо не подают сырым.

Вечером, на постоялом дворе, где пахнет кислой капустой и мокрой овчиной, я сочиняю письмо князю Владиславу. Учтиво, с поклоном, с отеческим сочувствием — это у меня всегда выходит хорошо, я и сам почти верю каждому слову. Сообщаю, что дочь его жива и здорова, что ночует она на дальней поляне под Кощеевым змеем и что на торгу об этом уже судачат. Последнее пока неправда. К завтрашнему вечеру станет правдой: умею же я делать так, чтобы про меня не рассказывали сказок, — сумею и наоборот.

Запечатываю воском и волчьей головой. Красные камушки в её глазах ловят свечу и подмигивают мне, как старому сообщнику.

Брать её этой ночью я не стал. Пусть сперва у неё отнимется всё, к чему можно вернуться. Тогда она сама пойдёт туда, куда позовут.

Глава 1. Шрам

Просыпаюсь я оттого, что мне в нос лезет божья коровка.

Сначала в нос, потом на губу. Я фыркаю, она снимается, кружит надо мной в зелёной полутьме, как искорка над печной заслонкой, и садится на стену. Стена тёплая, чешуйчатая и дышит.

Вспоминаю я не сразу.

Под крылом сумрачно и душно, как в шалаше, который мы с Ваней строили в детстве из отцовского плаща и двух лавок. Пахнет клевером, нагретым камнем и немного смолой. Щека у меня прилипла к рукаву, а на нём, кажется, мокрое пятно, и про него я думать не стану, никто не видел. Ну, разве только он.

Крыло над головой вздрагивает и медленно поднимается, как ставень. Свет бьёт в глаза — солнце уже не утреннее, а густое, полуденное, и тень от ельника легла на клевер почти до середины поляны.

— Сколько же я спала? — спрашиваю я.

Дракон, разумеется, не отвечает. Он лежит, положив голову на передние лапы, и наблюдает за мной одним глазом. Божья коровка перебралась на его ноздрю и ползёт по самому краю, а он терпит, не шевелится, только у глаза вздрагивает тонкая кожица. Мне становится так смешно, что я снова зарываюсь лицом в рукав.

— Она тебя щекочет, — говорю я в рукав. — Сдуй. Я разрешаю.

Он скашивает на ноздрю глаз, до того серьёзно и сосредоточенно, что получается почти косоглазие. И не дует. Божья коровка добирается до края, раскрывает надкрылья и улетает сама. Только тогда он выдыхает — осторожно, в сторону, так что клевер ложится вбок длинной волной.

Воспитанный. Где ты только набрался.

Сажусь, вытряхиваю из волос травинки, ощупываю голову и понимаю, что платок съехал на затылок, а узел развязался во сне. Синий платок висит на одном конце, как у пьяной бабы после свадьбы. Я снимаю его, встряхиваю, накидываю снова.

Пальцы сами берутся за концы у подбородка и начинают вязать.

Так у нижней ступени он завязывал мне платок, не спросив. Развязал мой узел — кривой, утренний, трижды перевязанный — и завязал свой, тугой и ровный. Пальцы у него были холодные, как всегда, и, затягивая концы, он задел костяшками мне горло, под самой челюстью, там, где бьётся жилка. На миг, не больше. А потом задержал пальцы у щеки — тоже на миг, — и отнял руку, будто обжёгся о край горшка.

Я тогда стояла не дыша. И сейчас, на поляне, посреди белого дня, у меня горят уши, словно кто-то застал меня за чем-то стыдным, хотя я всего лишь вяжу платок.

Узел выходит кривым. Конечно.

Развязываю и вяжу заново. Кривой. Ещё раз — один конец длиннее другого, и торчит, как заячье ухо.

— Ну и не надо, — говорю я узлу.

Дракон поднимает голову и следит за моими руками с неподдельным интересом.

— А ты? — спрашиваю я и подставляю ему подбородок с торчащими концами. — Ты сумеешь? Он же тебя всему, наверное, научил. Мост строить, хлеб есть с солью, божьих коровок не сдувать.

Он медлит. Потом бережно, едва дыша, протягивает ко мне переднюю лапу, выставив один коготь — длинный, гладкий и тёмный. Коготь подцепляет конец платка, тянет, и я ахаю — не от страха, а оттого, что нитка на краю лопается с тонким звоном и уголок повисает бахромой.

Дракон отдёргивает лапу, будто это его порвали.

Я падаю на спину в клевер и хохочу, пока в боку не закалывает. Он смотрит на меня сверху с оскорблённым достоинством, ворчит, как в бочке, и отворачивается к ельнику — показывает затылок, гребень и полное равнодушие к таким глупым девицам.

— Не сердись, — говорю я, отдышавшись. — Лап для этого не придумано. Я не в укор. Просто так.

Он вдруг резко поворачивает голову ко мне. Глаз у него становится круглым, как у совы, которую разбудили днём. Я не понимаю, что такого сказала, и на всякий случай глажу его по морде.

Узел я завязываю, как вышло. Свой.

Шрам на месте. При свете дня он виднее, чем утром: светлая полоса у самого основания крыла, длиной в мою ладонь, с бугристой каймой по краю. Чешуя легла на неё не так, как росла, а чуть вкось, словно её заново укладывали чужие руки.

Я провожу по шраму пальцем. Он шершавый и тёплый, теплее, чем вокруг.

Где же я видела такое? У кого?

Было что-то — дверной косяк, чья-то брань на чужом языке, человек, который оборачивается всем телом, а не одной головой, словно плечо у него не гнётся. Картинка поднимается, как рыба к поверхности, мелькает боком — и уходит в глубину, только круги по воде. Я стою, держа палец на шраме, и жду, когда она всплывёт ещё раз.

Не всплывает.

Дракон тоже стоит, не дышит. Я чувствую, как под моей ладонью замерла его шкура, будто он слушает вместе со мной.

— Что-то знакомое, — говорю я ему. — Ты не знаешь, что?

Он молчит. Конечно, молчит. Только кожа под пальцами мелко вздрагивает.

— Ладно, — говорю я. — Потом вспомню. Бабка Нежда говорила: что само уходит, то и вернётся, если за ним не бегать.

Мы обедаем: я — хлебом и луковицей, он — тем, что я ему отламываю. Он ест удивительно мало для своего роста. Мне всё кажется, что он должен проглотить разом весь каравай, вместе с тряпицей и сумкой, а он берёт по горбушке и каждую держит во рту, будто пробует, не горчит ли.

— Ты хоть охотишься? — спрашиваю я. — Оленей ешь? Кабанов?

Он фыркает с презрением.

— А что же ты ешь?

Он укладывает голову ко мне на колени. Тяжёлую, как бревно, и тёплую, как печной бок. Колени у меня сразу затекают, но я не двигаюсь.

— Ясно, — говорю я, хотя ничего не понятно. — Значит, ничего.

И, раз уж он лежит и никуда не денется, я ему рассказываю.

Про торг в Заречье. Про бабу у телеги с горшками, которая торговалась так, будто от неё зависела судьба трёх волостей. Про пряжку — серебряную волчью голову с красными камушками. Про бородку, подстриженную по нитке. Про то, как он скользнул по мне взглядом и пошёл дальше, к лошадям, к горшкам.

На словах про пряжку дракон поднимает голову с моих колен.

Медленно. Без единого звука. Но внутри него что-то начинает гудеть — низко, глухо, я ощущаю это ладонью, как слышишь сквозь стенку, что в бане затопили печь. А глаз его, зелёный, с вертикальным зрачком, поворачивается к ельнику и смотрит туда, на тёмные стволы, так пристально, что мне делается зябко посреди солнечной поляны.

— Ты что? — шепчу я. — Там кто-то есть?

Он не отвечает. Гудение стихает. Он снова опускает голову мне на колени, только уже не закрывает глаз.

— Он меня не узнал, — говорю я, понизив голос, хотя кому тут слушать, кроме клевера. — Я сидела у плетня, с сумкой, в платке, такая же, как все. Я даже обиделась немножко. Глупо, правда? Человек ищет меня через всё княжество, а я обижаюсь, что он не узнал.

Дракон фыркает. Мне хочется думать, что он со мной согласен.

— Только ты ведь понимаешь, что ему нужна вовсе не я. — Я перебираю пальцами мелкую чешую у него над глазом, она гладкая и прохладная. — Ему нужен ты. И тот, у кого ты живёшь. А я так, ниточка, за которую можно потянуть. Поэтому ты и не должен сюда прилетать. Слышишь? Вдруг он увидит.

Он глядит не моргая.

— Тебе надо домой, — говорю я. — Он тебя хватится.

Дракон закрывает глаз — нарочно, медленно, всем веком, как захлопывают дверь перед носом надоевшего гостя.

— Ещё как хватится, — повторяю я. — Ты думаешь, он не замечает? Он всё замечает. Он замечает, что каша пригорела на донышке, что мышь опять съела угол в тетради, что я переставила солонку на палец левее. Будет бродить по замку, притворяться, что ему всё равно, а сам заглядывать в каждую дверь. А потом сядет у окна в библиотеке и не будет зажигать свечу. Он так делает, когда ему плохо. Ты разве не знаешь?

Глаз приоткрывается. Самую малость, щёлочкой.

— Знаешь, — решаю я. — Ты же там живёшь.

Я замолкаю. Клевер шелестит. Где-то в ельнике стучит дятел — сухо и деловито.

— Слушай, — говорю я. — Раз уж ты полетишь домой, передай ему. Только не всё. Кое-что.

Он поднимает голову и складывает её на лапы передо мной. Слушает, как Прошка сказки, — весь вперёд.

— Скажи, что я дошла. Что Лукерья скрипит, но держит. Что Прошка вырос на полголовы и уронил меня в лужу. — Я загибаю пальцы. — Скажи, что я лечу. Что мама старится, а я хожу по дворам с её сумкой и пока что всё делаю тише, чем она. Скажи, что я не позвала. В ту ночь, когда было страшно. Я держала до самого рассвета. Он ведь просил — не звать. Скажи ему, что я выполнила.

Я сглатываю и смотрю в клевер.

— Скажи, что каша у нас дома не пригорает. Совсем. Ни разу. — Я снова загибаю палец и вижу, что пальцев на руке не хватает, а сказать хочется ещё. — Это плохо, наверное. Я привыкла, что пригорает. Скажи, что…

Дракон не шевелится. Даже не дышит, кажется.

— Нет, — говорю я и разжимаю кулак. — Про это не говори. Про кашу не надо. И про лужу. И про то, что я не позвала, тоже, пожалуй, не надо: он подумает, что я хвастаюсь. Скажи просто, что я жива. Он и так поймёт, что надо.

Дракон долго, тяжело выдыхает мне в подол. От этого выдоха пахнет смолой и чем-то ещё — старой бумагой, как в библиотеке, когда распахнёшь шкаф, где лет сто никто не рылся.

Солнце сползает к ельнику. Мне пора: мама велела к обеду, а обед давно прошёл. Я поднимаюсь, отряхиваю подол, закидываю сумку на плечо.

Зверобоя в ней нет ни травинки.

— Вот, — говорю я. — Что я теперь скажу дома? Пошла за зверобоем, проспала полдня под драконом. Мама обрадуется.

Он тоже поднимается. Неторопливо, со вкусом — сначала передние лапы, потом всё остальное — и встряхивается, так что от него летят сухие травинки и клевер. Потом поворачивается и ложится.

Поперёк тропы.

Тропа у нас одна, через ельник, узкая, по ней едва проходит телега, и теперь от одной еловой стены до другой лежит дракон. Голова в кустах слева, хвост в папоротнике справа, а посередине, на месте тропы, — зелёный бок, вздымающийся мерно и сонно, как живот у отца после пасхального стола.

— Пусти, — говорю я.

Бок вздымается.

— Пусти, пожалуйста. Мне домой.

Он не шевелится, только глаз приоткрыт, и в узкой прорези мне чудится такое ехидство, что я упираю кулаки в бока, как мама, когда Прошка прячет за пазухой пряник.

— Хорошо, — говорю я. — Тогда обойду.

Иду налево, к голове, — она переползает в ту же сторону и ложится на моём пути. Иду направо — хвост вздымается из папоротника и опускается передо мной, толстый, как бревно, и перегораживает дорогу. Я подбираю юбку и перелезаю через хвост, будто это плетень у бани. Хвост приподнимается вместе со мной. Медленно, плавно, без малейшей спешки поднимает меня в воздух на высоту плеча — я хватаюсь за гребень, визжу, болтаю ногами, — подержит немного и опускает обратно, на ту же сторону, откуда я лезла.

На поляну.

Я сижу в клевере и хохочу так, что икаю.

— Бесстыжий, — говорю я, утирая слёзы. — Ты бесстыжий. Тебя кто так воспитал? Он? Не верю. Он бы никогда.

Дракон ворчит. Мне кажется, он тоже смеётся.

Потом я перестаю смеяться. Сажусь поближе к его морде, прямо на тропу, и беру его голову обеими руками, насколько хватает ладоней.

— Послушай, — говорю я тихо. — Мне правда надо. Меня ждут. Если я не приду, Ваня поднимет пол-Заречья с вилами искать меня по оврагам, а мама решит, что меня уволок волк, или Кощей, или кто похуже. Ты же не хочешь, чтобы сюда пришли с вилами?

Глаз глядит на меня в упор.

— Я приду завтра, — говорю я. — Сюда же. С хлебом. С солью. Честное слово.

Он медлит. Потом его ноздри раздуваются, он вдыхает — у меня от этого вдоха шевелятся волосы на висках, — и выдыхает, долго, протяжно, почти со стоном. Встаёт. Отходит с тропы в папоротник, задевая боком ели, и с веток на меня сыплется сухая хвоя.

Я иду по тропе и оглядываюсь. Он стоит в папоротнике и смотрит мне вслед.

— Завтра, — говорю я ему. — Слышишь? И лети домой. Он ждёт.

Он не летит домой.

Я понимаю это, когда выхожу из ельника на луг и на траву передо мной ложится тень — огромная, крылатая, проползает по лугу, по мне, по моей сумке и уплывает вперёд, к реке. Я поднимаю голову. Он идёт высоко, почти под облаками, но крылья у него такие широкие, что тень всё равно получается с хорошую избу.

У реки он садится. За холмом. Плохо садится: холм небольшой, а дракон большой, и над холмом торчит гребень, как забор, а с другой стороны — хвост, которым он помахивает в траве, будто кот, подстерегающий воробья.

Я прохожу мимо холма и делаю вид, что ничего не вижу.

Пастушок Гришка, сопливый, лет семи, гонит по лугу трёх коз и ковыряет в носу. Козы останавливаются, все три разом, и уставляются на холм. Гришка тоже уставляется. Палец его так и остаётся в носу.

— Это валун, — говорю я Гришке, проходя мимо. — Его на Троицу привезли.

— Он шевелится, — говорит Гришка.

— Ветер, — говорю я и иду дальше, не оборачиваясь, а спиной чувствую, как за холмом кто-то очень большой изо всех сил старается не шевелиться.

Гришка гонит коз в другую сторону, гораздо быстрее, чем раньше.

За рекой дракон снова поднимается. Снова тень по лугу, я задираю голову, он садится — теперь за стогом прошлогоднего сена, и стог от этого делается похожим на зелёную гору с ушами.

У поскотины я останавливаюсь и говорю, не оборачиваясь, громко и строго, маминым голосом:

— Дальше — нельзя.

За стогом становится тихо.

— Нельзя, — повторяю я. — Дальше люди. Собаки. Отец. Ступай домой.

Тишина. Потом — тяжёлый вздох, от которого шевелится солома на верхушке стога, и шорох крыльев, и тень, уходящая обратно, к лесу.

Я стою у поскотины, держась за жердь, и смотрю, как он делается всё меньше, пока не превращается в тёмную птицу над ельником, а потом и в точку. Колени у меня мягкие, как будто я весь день носила воду.

Не домой, отмечаю я. К поляне.

— А зверобой где? — спрашивает мама на крыльце.

Я протягиваю ей пучок клевера, который нарвала по дороге, у поскотины, чтобы не возвращаться с пустыми руками. Клевер без единого цветка, одни листья.

Мама смотрит на клевер, потом на меня. Потом наклоняется и нюхает мой платок, у самого виска, как нюхала в детстве, когда я бегала к Нежде без спроса.

— Смолой пахнешь, — говорит она. — И камнем. Ты где была?

— За ельником.

— На камнях спала?

— На клевере, — говорю я, и это правда.

Мама держит пучок, вертит его в пальцах. Глаза у неё усталые, но острые, как у человека, который тридцать лет разглядывал чужие раны и научился видеть даже ту, что под рубахой.

— Узел, — говорит она вдруг. — Ты опять перевязывала.

— Он не держится.

— Он держится. Ты его не так вяжешь. — Мама протягивает руку к моему подбородку, и я отступаю на полшага, не успев подумать.

Мама опускает руку. Смотрит на неё, потом на меня.

— Иди есть, — говорит она. — Каша в печи.

Каша не пригорела. Ни капельки.

За ужином Прошка не может усидеть на лавке. Он ёрзает, роняет ложку, лезет за ней под стол, вылезает с ложкой и котёнком и наконец выпаливает, не дождавшись, пока отец дочитает молитву:

— Змей летал!

Ваня фыркает в кружку.

— Над ельником, — частит Прошка и сияет. — Зелёный! Огромный, больше бани! Я с крыши видел, я лез за мячом, а он — ш-ш-ш! — крыльями, туда, к реке, и обратно. Он за холм сел, а потом опять. Гришка тоже видел, у него козы с перепугу молоко не дали!

— Это у Гришки козы всегда молоко не дают, — говорит Ваня. — Они у него от рождения малахольные.

— А змей был!

Я опускаю ложку. Не роняю — опускаю, тихо, на край миски, и держу её пальцами, чтобы не звякнула.

Отец отодвигает хлеб.

— Какой змей? — спрашивает он.

— Зелёный! — Прошка раскидывает руки так широко, что задевает Ваню по уху. — Вот такой!

— Зелёный, — повторяет отец. Голос у него ровный, но лоб собрался в одну тяжёлую складку, и я её знаю: так он слушает гонцов. — Над нашим ельником.

— Мало ли что мальчишке привидится, — говорит мама. — Ястреб с крыши кажется больше бани.

— Ястреб не зелёный.

— На солнце всё зелёное, — говорит мама и подвигает к отцу крынку молока, будто этим ставит точку.

Отец молчит. Потом говорит, ни на кого не глядя, в стол:

— Зелёный змей — Кощеев. Все знают. Если он повадился к нашим лесам, это не к добру.

— Может, просто летел мимо, — говорю я. Слова выходят сами, тихо, и я тут же жалею: все поворачиваются ко мне.

— Мимо, — говорит отец. — Может, и мимо. А может, за нами кто-то смотрит. Ты три недели как дома, Василиса. Кощей отпустил — так говоришь ты. Только Кощей просто так никого не отпускает.

— Отпустил, — говорю я. — Он вычеркнул имя. Я же показывала.

— Не показывала, — говорит отец. — Грамоту ты так и не развернула.

Я молчу. Это правда. Грамота лежит в тетради, под подушкой, и я ни разу её не открыла: боюсь, что черта окажется не такой ровной, как я помню.

— Владислав, — тихо говорит мама.

Отец берёт хлеб, ломает пополам, ест. Больше он про змея не говорит.

Зато говорит Прошка — вполголоса, придвинувшись ко мне и дыша луком:

— А ещё вчера дядька чужой у колодца спрашивал, где ты травы берёшь. Пряник мне дал. Говорит, хочу, мол, к княжне за зверобоем, у неё рука лёгкая.

Я перестаю жевать.

— Какой дядька?

— Молодой. Рыжий. Говорит смешно, будто горячую картошку во рту держит. — Прошка показывает, надувая щёку. — Я сказал, что за ельником. Это ж не тайна?

— Нет, — говорю я. — Не тайна.

Пряник Прошка давно съел, а мне так холодно, будто это я его проглотила, а был он изо льда.

Ночью я снова у окна, на сундуке, поджав ноги.

Небо такое же чистое, как вчера, только луна прибыла и стала похожа на надкушенный каравай. Двор спит. Где-то в людской храпит конюх Ермолай — так раскатисто, что вздрагивает пустое ведро у колодца. В бане скребётся мышь.

Мне жарко. Рубаха липнет к спине, хотя ночь прохладная, и я распускаю ворот, и всё равно жарко, словно я весь день стояла у печи, а печь внутри.

Я думаю о картошке во рту. О рыжем дядьке у колодца. О ельнике, на который смотрел дракон, пристально, не мигая, пока внутри у него гудело.

Думаю — а мысли всё равно сползают в другую сторону, как платок с головы во сне.

К нижней ступени. К холодным пальцам у меня под подбородком. К тому, как он развязал мой узел — сначала потянул за один конец, потом за другой, не торопясь, будто распутывал что-то хрупкое, — и как я стояла, задрав подбородок, и глядела мимо его лица, на пуговицу у ворота его кафтана, чёрную, роговую, с крошечной трещиной сбоку. Я до сих пор помню эту трещину. Что он тогда сказал, у меня из головы вылетело, а трещина осталась.

Если бы он не отнял руку от щеки, я бы, наверное, сама к ней прижалась. Как кошка. Без спроса.

Я прикладываю ладони к щекам. Они горячие.

— Это жар, — говорю я вслух, шёпотом. — Весенний. Мама говорит, у девок весной кровь бродит, как квас, надо пить чабрец и ложиться пораньше.

Я не ложусь пораньше. Сижу и гляжу на тёмный зубчатый край ельника, где сейчас, на поляне, на клевере, спит кто-то огромный и тёплый — один, без меня.

Или не спит.

Над лесом, в одном месте, гаснут три звезды и вспыхивают снова, будто их на миг заслонили крылом.

— Спи, бесстыжий, — шепчу я в окно. — Я завтра приду.

И первый раз за три недели засыпаю, не дождавшись рассвета.

Я обещал себе не опекать её. Обещание продержалось до первой канавы, а та попалась сразу за поскотиной: я лежал за стогом и ждал, не обернётся ли она. Она не обернулась. Сказала «нельзя» тем голосом, каким говорят собаке, и я, к своему удивлению, послушался.

Дракону это не понравилось. Мы с ним по-прежнему не договорились, кто из нас кого носит. Он хочет лечь у её ворот и не вставать, и чтобы весь этот двор с вилами, отцами и малахольными козами видел, что она его. Я хочу того же, и оттого мне ещё стыднее.

Она отдала мне хлеб с солью — и сыт я им так, как не бывал золотом. Ей это ничего не стоило: она отломила, не задумываясь, как отламывают воробью. Я теперь знаю, чем живу. Это хуже, чем не знать.

«Скажи ему, что я жива». Я сказал себе. Не знаю, понял ли.

«Лап для этого не придумано», — сказала она, не подозревая, что повторяет мою собственную мысль, ту самую, у меня в голове, утреннюю. На миг мне почудилось, что меня видно насквозь, вместе с чешуёй. Нет. Это просто она. Она всегда говорит то, о чём другие молчат, и не замечает этого, как собственного дыхания.

Рыжего в ельнике зовут Хальвдан. Я знаю его запах — кислая овчина и железо. Второго, старого, — мята, воск и что-то ещё, сладковатое, как гниль под пёстрой корой. Я не стал поворачивать головы: она спала.

Потом я буду об этом жалеть. Знаю. Но тогда — не стал.

Глава 2. Две недели

Мне снится кухня в замке.

Печь, лавка, квашня на столе, и мука везде — на досках, на полу, у меня на локтях. Он стоит рядом, рукава закатаны выше локтя, кафтан висит на крюке для половника, и руки у него в тесте по самые запястья. Тесто липнет, он сердится на него молча, одними бровями, а я смеюсь и подсыпаю муки.

Потом я тоже опускаю руки в квашню — и натыкаюсь на его пальцы.

Во сне это происходит медленно, как в мёде. Его ладонь ложится поверх моей, прямо там, в тёплом, податливом, живом тесте, и накрывает мои костяшки целиком. Ладонь у него холодная, а тесто тёплое, и от этой разницы у меня вдоль спины пробегает дрожь, будто кто-то провёл пёрышком от затылка вниз. Я хочу вытянуть руку и не вытягиваю. Он глядит не на меня, а в квашню, и пальцы его медленно, по одному, просовываются между моими, и тесто выдавливается вверх, как будто ему тоже тесно.

— Мера, — говорит он во сне. — Вы говорили, это не мера.

Я хочу ответить и не могу: в горле сухо, как в печной трубе.

Просыпаюсь я с колотящимся сердцем, мокрая, будто меня окатили из ведра. Рубаха прилипла к спине, одеяло сбито в ноги, а правая рука — та самая — сжата в кулак под подушкой так крепко, что ногти оставили на ладони четыре розовые подковки.

Надо мной стоит мама с лучиной.

— Ты кричала, — говорит она.

— Я? Нет.

— Не кричала, — поправляется мама. — Охала. Как больная.

Она ставит лучину в светец и садится на край постели. Трогает мне лоб тыльной стороной ладони, щёку, шею под ухом, где у меня, я чувствую, всё ещё стучит.

— Горишь, — говорит мама. — Не захворала?

— Нет. Душно просто.

— Окно открыто.

Я молчу. Мама держит руку у меня на шее и слушает жилку, губы у неё беззвучно шевелятся, а мне стыдно так, словно она может нащупать там, под кожей, мой сон, кухню, квашню и чужие пальцы между моими.

— Весенняя кровь, — говорит наконец мама и убирает руку. — Я в твои годы тоже по ночам металась. Заварю тебе чабрец с душицей.

— Не надо.

— Надо. — Она встаёт, поправляет мне одеяло, как маленькой, и вдруг останавливается в дверях. — Василиса. Он тебя там не обижал?

Я сажусь на постели.

Три недели дома, и мама спрашивает об этом впервые. Не за столом, не при отце, а ночью, с лучиной, со спины, будто вопрос сам вылетел, пока она не успела его поймать.

— Нет, — говорю я. — Он солонку ставил на край стола. Чтобы мне не тянуться.

Мама оглядывается на меня. Я вижу, что она не понимает. Совсем. Солонка, край стола — что за ответ, когда спрашивают про Кощея.

— Ну и хорошо, — говорит она тихо. — Спи.

Чабрец она всё-таки приносит. Я пью его, горький, с душицей, и думаю, что раньше рассказала бы маме всё: кухню, тесто, пальцы. А теперь у меня нет для этого слов. У мамы есть слова для нарыва, для вывиха, для родов, для горячки. Для этого — нет. У меня тоже.

На поляну я хожу каждый день.

Говорю — за зверобоем, за подорожником, за пастушьей сумкой, — и приношу их домой, честно, полную сумку: собираю на обратном пути, бегом, по краям оврага, лишь бы не с пустыми руками. Мама разбирает травы на столе и хмыкает. Подорожник у меня выходит какой-то мятый, будто на нём лежали.

Дракон ждёт меня с утра. Каждый раз я выхожу из ельника — и сердце у меня проваливается: а если улетел? Послушался, вернулся домой, как я велела? А он лежит посреди клевера, мордой к тропе, и, завидев меня, вскидывает голову так резко, что с гребня осыпается роса.

— Ты что, всю ночь тут? — спрашиваю я каждый раз.

Он делает вид, что нет.

Я плету ему венок из клевера. Клевер к этим дням уже цветёт, и венок получается розово-белый, пышный, как у невесты. Надеваю ему на рог над глазом. Дракон замирает, скашивает глаз вверх, на венок, — и лежит так, гордо, неподвижно, будто ему на голову надели княжескую шапку. Потом встряхивается, и венок улетает в кусты.

— Неблагодарный, — говорю я.

Он идёт к кустам, долго, осторожно, губами, выуживает венок из шиповника и кладёт к моим ногам. Немного помятый.

Я надеваю его себе.

Мы учимся разговаривать. То есть я разговариваю, а он учится отвечать. Фыркнуть — это «нет». Прикрыть глаз — «надоела». Положить голову мне на колени — «ещё». Ворчание в бочке — смех; я в этом уверена, хотя проверить не могу. А если он вдруг вскидывает голову и смотрит в ельник, не мигая, а внутри у него начинает гудеть, — это значит, что мне пора идти, и спорить бесполезно.

Он вскидывает голову всё чаще.

У колодца бабы замолкают, когда я подхожу.

Обычно они не замолкают ни перед кем. Ни при отце, ни перед попом, ни в грозу. Тут — как отрезало. Стоят с вёдрами, молчат, глядят в разные стороны, а Матрёна, жена мельника, смотрит прямо на меня и поджимает губы так, что у неё пропадает рот.

Я набираю воду. Журавль скрипит, вода плещет, бабы молчат.

Уже когда я отхожу, за спиной кто-то шепчет, не очень тихо, так, чтобы долетело:

— …змею, говорят, хлеб носит.

— Кощееву?

— А чью ещё. Зелёный. Гришкины козы видели.

— Козы!

— И Гришка видел. И охотник из Ольховки, проезжий, тоже, говорят, видел: спит она под ним, как под периной. Тьфу.

— Да ну. Княжна-то.

— Княжна. Была у Кощея — что с ней там делали, кто знает. Порченая вернулась. Вот и бегает.

Я не оборачиваюсь. Иду ровно, вёдра тянут плечи вниз, вода плещет на подол. До ворот рукой подать, а у меня такое чувство, будто я иду через всё Заречье, голая, и каждый плетень смотрит.

Порченая.

Дома я ставлю вёдра в сенях и долго мою руки в кадке, хотя они чистые.

Письмо приходит в среду.

Привозит его не наш гонец — чужой, на сером коне в яблоках, молчаливый, в коротком кафтане. Отдаёт у ворот Ермолаю, кланяется и уезжает, не дожидаясь ни ответа, ни угощения. Ермолай несёт письмо в горницу на вытянутых руках, как горшок с углями.

Я вижу его мельком, когда несу отцу квас. Письмо лежит на столе, развёрнутое, а рядом — сломанная печать, красный воск, и на воске оттиск.

Волчья голова.

У меня в руках дрожит кувшин, и квас плещет на стол, на письмо. Отец отдёргивает лист.

— Осторожнее, — говорит он, не поднимая глаз. И, когда я уже у двери: — Василиса. Сядь.

Я сажусь.

Отец складывает письмо вчетверо, потом ещё раз, пока оно не становится маленьким и толстым, как пирожок. Прячет за пазуху. Молчит, и в горнице становится тесно, как в погребе.

— С сегодняшнего дня за ворота — ни шагу, — говорит он. — Одна — ни шагу. С матерью — можно, по дворам. С Ваней — можно. Одна — нет.

— Отчего?

Отец поднимает на меня глаза. Голубые, как у меня, только сейчас в них пасмурно.

— Я так сказал, — отвечает он. — Этого мало?

Раньше было бы много. Раньше я бы кивнула и пошла, и даже не спросила бы второй раз. Я так и делаю: киваю и иду. Только у двери останавливаюсь, держась за косяк.

— Кто пишет? — спрашиваю я.

— Доброжелатель, — говорит отец, и губы у него кривятся. — Учтивый. С поклоном. Ступай.

Я ухожу. За дверью прислоняюсь к стене и стою так, пока не перестают дрожать колени.

Вечером Ваня сидит на крыльце и строгает палку. Я сажусь рядом. Мы так сидели всё детство — он строгал, я смотрела, а стружки летели мне на подол, и мама ругала нас обоих.

— Отец велел ловчим ельник обложить, — говорит Ваня, не поднимая головы от палки. — Завтра с утра. Змея бить.

Я молчу.

— Ермолай сети чинит, — продолжает Ваня. — Яким рогатину точит. Сосед, Савелий, капкан приволок на медведя, говорит, змею лапу перешибёт. Потеха.

Стружка падает мне на колено. Я снимаю её, верчу в пальцах. Длинная, светлая, завитая в колечко.

— Его не убить рогатиной, — говорю я тихо.

Ваня перестаёт строгать.

— А ты почём знаешь?

— Я у Кощея прожила полгода. Видела.

Ваня откладывает нож. Поворачивается ко мне — и глядит, как в тот день, когда мне было шесть, а я свалилась с яблони и лежала молча, не плача.

— Васёна, — говорит он. — Это ты к нему бегаешь? К змею?

Я молчу. Стружка в моих пальцах разворачивается и снова сворачивается.

— Бабы у колодца языки чешут, — говорит Ваня. — Я одной уже сказал пару слов, так она теперь меня обходит через огороды. Но отец-то письмо получил. Я видел, какое у него лицо было. Как будто ему на похоронах сказали, что покойник не тот.

— Ваня…

— Я не спрашиваю, — говорит он быстро. — Не хочешь — не говори. Я просто… — Он трёт лоб тыльной стороной ладони, и на лбу остаётся светлая полоска от стружки. — Ты после замка другая. Тихая. Ты и раньше была тихая, а теперь — по-другому. Будто слушаешь что-то, чего мы не слышим.

Я смотрю на него. Ваня, который дразнил меня Васёной, ловил мне лягушек, а потом пугал ими. Ваня, который сказал в день моего возвращения, что я красивая, и покраснел, будто это было стыдно.

— Он хороший, — говорю я. — Дракон. Он никому ничего плохого не сделал.

— Ага, — говорит Ваня. — Только козам.

— Козы сами.

Ваня смеётся, коротко, в нос. Потом снова берёт палку.

— Завтра с утра, — повторяет он. — Через ельник, от реки. Ермолай пойдёт первым, он медленный, его слышно за версту. — Ваня подбирает стружку с моего подола и выбрасывает её через перила. — Я тебе ничего не говорил.

— Ничего, — соглашаюсь я.

Мы сидим. Над баней загорается первая звезда. Ваня строгает, и стружки летят мне на подол, и мама из окна кричит, чтобы мы шли ужинать, а не сорили на крыльце, — всё как всегда, только во мне стучит одно: завтра с утра.

Ночью я не сплю. Утром я ухожу огородами, мимо бани, через дыру в плетне, которую Прошка прокопал прошлым летом, чтобы бегать на речку. Дыра узкая, я цепляюсь подолом и рву его, но сейчас мне не до того.

Через ельник я не сворачиваю — пробираюсь в обход, по оврагу, по колено в росе, вся мокрая, с колючками в волосах.

Он лежит на краю поляны, у самых елей.

Я сначала не узнаю его. Он серый.

Не весь — пятнами, как бывает серой вода в луже, когда на неё ляжет пыль. Зелень на боках поблёкла, чешуя потускнела, будто её долго не чистили. Он лежит, уронив морду в траву, и не поднимает её, когда я выхожу из оврага. Только приоткрывает глаз.

Глаз тоже какой-то не тот. Тусклее.

— Ты что? — Я падаю на колени рядом с его мордой. — Ты что это? Ты заболел?

Он выдыхает. Слабо, так что даже клевер не шевелится.

— Ты ел? — Я лезу в сумку, вытаскиваю хлеб, ломаю, солю, сую ему в губы. — На. Ешь. Ешь, пожалуйста.

Он берёт. Медленно. Жуёт, прикрыв глаз. Потом второй кусок — быстрее. Третий. Я ломаю, солю, сую — руки у меня трясутся, соль просыпается в клевер, — а он жадно жуёт, как будто не ел с того дня, когда я была здесь в последний раз.

С того самого дня.

Я замираю с горбушкой в руке.

— Ты без меня не ешь? — спрашиваю я.

Он открывает глаз и смотрит на меня. Не фыркает. Не прикрывает глаз. Просто смотрит, и в глазу у него, прямо в вертикальном зрачке, отражаюсь я — маленькая, растрёпанная, с горбушкой.

Это не «нет». И не «надоела».

— Глупый, — говорю я, и у меня щиплет в носу. — Ты же огромный. Ты должен есть оленей. Коров. Ты должен… я не знаю, что ты должен. Но не так же.

Он опускает голову мне на колени. Ещё.

Я глажу его по морде и чувствую, как под ладонью, медленно, по капле, к чешуе возвращается зелень. Не сразу — пятнышками, как проступает трава сквозь тающий снег. И мне делается так тепло, словно это меня покормили, а не его. Тепло уходит из рук в него и возвращается обратно, и я не знаю, кто из нас кого сейчас греет.

Где-то за ельником, у реки, трубит рог.

Дракон вскидывает голову. Гудение внутри у него поднимается мгновенно, будто кто-то раздул горн.

— Это ловчие, — шепчу я. — Отец послал. Тихо. Тихо, слышишь?

Рог трубит снова, ближе. Слышны голоса, хруст веток, лай. И громче всех — Ермолай: он ругается на корни, на комаров, на Якима и на свою рогатину, которая цепляется за всё подряд.

Дракон приподнимается. Глаз у него становится узким, зрачок — тонким, как нитка, а над губой показывается край зуба.

— Нет, — говорю я и обхватываю его морду обеими руками. — Нет. Ты не будешь. Это наш Ермолай. Он мне в детстве свистульки резал.

Дракон рычит. Тихо, низко, мне в ладони.

— Ляг, — говорю я. — Пожалуйста. Как вчера за холмом. Ты умеешь.

Он смотрит на меня. Мгновение. Другое. Потом ложится — плоско, всем телом в клевер, вытягивает шею вдоль земли, поджимает хвост — и накрывает меня крылом.

Под крылом темно, тесно и жарко. Пахнет смолой. Я лежу, прижавшись щекой к его боку, и слышу, как у него внутри бьётся сердце, — огромное, медленное, тяжёлое, будто кто-то колет дрова в глубоком погребе. А снаружи, сквозь перепонку крыла, просвечивает солнце, и всё вокруг зелёно-золотое, как в бутылке.

Шаги. Хруст. Голоса.

— Тут поляна, — говорит Яким.

— Вижу, что поляна, — ворчит Ермолай. — Клевер. Мокро. Тьфу.

— А это что?

Молчание.

— Холм, — говорит Ермолай.

— Не было тут холма.

— Был.

— Не было, я тут по осени грибы брал.

— Ну так вырос. Грибы растут, и холм вырос. Чего встал? Змея ищи.

— Ермолай Петрович. — Голос у Якима становится тоненький, как у девки. — А холм-то… дышит.

Я зажимаю себе рот ладонью.

Крыло надо мной не шевелится. Сердце под щекой стучит ровно, медленно, только чуть быстрее, чем раньше.

— Земля дышит, — говорит Ермолай. — Весна. Пошли, говорю. Солнце вон где, а мы ещё и до оврага не дошли. Князь велел к обеду.

— А может, рогатиной ткнуть?

— Я тебе ткну. Ты холм рогатиной тычешь, а змей тем временем, может, у князя в бане сидит. Пошли!

Шаги удаляются. Голоса тоже. Рог трубит уже где-то за оврагом, далеко.

И тут — совсем рядом, у самого края крыла, — тоненько, шёпотом:

— Холмик… Ты моргнул?

Прошка.

Я перестаю дышать.

Крыло надо мной тоже не дышит.

Тянется мгновение, длинное, как зимняя ночь. Слышно, как в клевере стрекочет кузнечик и как Прошка сопит носом.

— Прошка! — орёт издалека Ермолай. — Ты где, бесов сын? Отстанешь — волки съедят!

Прошка вздыхает с огромным сожалением и убегает, шлёпая босыми пятками по росе.

Я лежу под крылом и трясусь — от смеха, от страха, не знаю от чего. Дракон приподнимает крыло. Самую малость, щёлочкой. Глаз у него хитрый, весёлый, и зелень в нём вернулась вся, до последней искры.

— Ты моргнул, — шепчу я. — Я видела. Ты ему моргнул.

Он ворчит в бочке. Смеётся.

Потом, когда ловчие уходят совсем далеко и даже рога больше не слышно, мы сидим в клевере. Я — спиной к его боку. Он — свернувшись вокруг.

Солнце перевалило за полдень. Дома меня, наверное, уже хватились. Ваня, наверное, врёт что-то про огород и баню. Мама, наверное, стоит у ворот с рукой у глаз.

А я сижу и думаю.

Домой — нельзя. Вернее, можно, конечно: у меня есть ворота, крыльцо, мама с чабрецом. Только за воротами — ни шагу одной, у колодца молчат, а у отца за пазухой письмо с волчьей головой. И рыжий у колодца спрашивал, где я беру травы. Ольгерд меня не узнал на торгу, но кто-то же написал отцу. Значит, узнал потом. Значит, знает, где я бываю. Значит, дом — это теперь место, где меня будут ждать, и не только мама.

Здесь — нельзя. Сегодня Ермолай, завтра Савелий с медвежьим капканом. А послезавтра, может, тот, кто не перепутает дракона с холмом.

А туда — к нему — не хочу.

Я думаю об этом честно, глядя в клевер. Мост стоит, Лукерья скрипит, ворота, я знаю, не заперты. Можно прийти. Он, наверное, даже не удивится, поставит солонку на край, будто я и не уходила.

Только меня оттуда отпустили. Вычеркнули ровной чертой. Он сам перевязал мне платок и сам сказал: иди. И не вышел проводить. Стоял в тёмном окне библиотеки, я знаю, я чувствовала спиной, — но не вышел. Если бы ему было не всё равно, он пришёл бы сам. А он прислал дракона.

Или дракон сбежал.

Или — не всё равно, но он не умеет приходить. Он умеет только стоять в окне и не зажигать свечу.

Я не знаю, что из этого правда. Я переворачиваю каждую мысль, как оладью на сковородке, и каждая подгорает с одного боку.

— Если вернуться, — говорю я вслух, — я буду опять дань. Пусть он меня отпустил. Пусть он вычеркнул. Всё равно. Я приду, и все будут знать: вернулась. Сама. К Кощею. Как кошка, которую отвезли в мешке за реку, а она к утру уже сидит на крыльце.

Дракон под моей спиной перестаёт дышать.

— Не обижайся, — говорю я. — Это не про тебя. Ты не кошка. Ты прилетел. Это другое.

Я сижу и смотрю, как по краю поляны прыгает трясогузка. Скакнёт, качнёт хвостом, вспорхнёт на кочку. Никуда ей не надо. Нигде её не ждут, и никто за ней не следит. Счастливая.

И вдруг я понимаю.

Это приходит так же, как к маме иногда являлась мысль у постели больного: сразу, целиком, без всяких «может быть». Мама говорила — как будто дверь открывается в стене, где двери не было.

— Мама ходит по дворам, — говорю я медленно. — А я буду ходить по дорогам.

Дракон поднимает голову.

— Слушай. — Я поворачиваюсь к нему, встаю на колени, хватаю его за морду. — Слушай меня. Я лекарка. Я умею. Не так, как мама, — пока не так, — но умею. А где-нибудь в селе за сто вёрст отсюда тоже рожают, и режутся серпом, и горят в горячке, и у них, может, совсем нет лекарки, ни хорошей, ни плохой. Я буду лечить. За хлеб, за ночлег, за что дадут. А ты… — Я перевожу дух. — А ты будешь со мной. Никто не станет на тебя охотиться, если мы нигде не задержимся надолго. Никто не напишет отцу. Никто у колодца не скажет «порченая». Нас просто не будет здесь.

Глаз у дракона раскрывается во всю ширь. И в нём — я вижу, честное слово, — вспыхивает что-то, как угли, если на них дунуть.

— Ты хочешь? — спрашиваю я шёпотом.

Он тычется мордой мне в грудь. Сильно, так что я валюсь в клевер на спину. И лежит, придавив меня тёплой тяжёлой головой, и ворчит без умолку, и не даёт встать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.